

ДМИТРИЙ
МЕРЕЖКОВСКИЙ

*Вечные
спутники*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Дмитрий Мережковский

Вечные спутники

«Public Domain»

1897

Мережковский Д. С.

Вечные спутники / Д. С. Мережковский — «Public Domain»,
1897

«... Предлагаемое издание состоит из ряда критических очерков. Цель автора заключается не в том, чтобы дать более или менее объективную, полную картину какой-либо стороны, течения, момента во всемирной литературе, цель его – откровенно субъективная. Прежде всего желал бы он показать за книгой живую душу писателя – своеобразную, единственную, никогда более не повторяющуюся форму бытия; затем изобразить действие этой души – иногда отделенной от нас веками и народами, но более близкой, чем те, среди кого мы живем, – на ум, волю, сердце, на всю внутреннюю жизнь критика, как представителя известного поколения. Именно в том и заключается величие великих, что время их не уничтожает, а обновляет: каждый новый век дает им как бы новое тело, новую душу, по образу и подобию своему. ...» В сборник вошли очерки: «Акрополь», «Марк Аврелий», «Плиний Младший», «Кальдерон», «Сервантес», «Гёте», «Монтань», «Флобер», «Ибсен», «Достоевский», «Гончаров», «Тургенев», «Майков», «Пушкин».

© Мережковский Д. С., 1897

© Public Domain, 1897

Содержание

Введение	5
Акрополь	6
Трагедия целомудрия и сладострастия	13
Марк Аврелий	17
I	17
II	20
III	25
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Дмитрий Сергеевич Мережковский

Вечные спутники

Введение

Предлагаемое издание состоит из ряда критических очерков. Цель автора заключается не в том, чтобы дать более или менее объективную, полную картину какой-либо стороны, течения, момента во всемирной литературе, цель его – откровенно *субъективная*. Прежде всего желал бы он показать за книгой живую душу писателя – своеобразную, единственную, никогда более не повторяющуюся форму бытия; затем изобразить действие этой души – иногда отделившейся от нас веками и народами, но более близкой, чем те, среди кого мы живем, – на ум, волю, сердце, на всю внутреннюю жизнь критика, как представителя известного поколения. Именно в том и заключается величие великих, что время их не уничтожает, а обновляет: каждый новый век дает им как бы новое тело, новую душу, по образу и подобию своему.

Несомненно, что Эсхил, Данте, Гомер для XVI века были не тем, чем сделались для XVIII, еще менее тем, чем стали для конца XIX, и мы не можем представить себе, чем они будут для XX, – только знаем, что великие писатели прошлого и настоящего для грядущих поколений будут уже не такими, какими наши глаза их видят, наши сердца их любят.

Они живут, идут за нами, как будто провожают нас к таинственной цели; они продолжают любить и страдать в наших сердцах, как часть нашей собственной души, вечно изменяясь, вечно сохраняя кровную связь с человеческим духом. Для каждого народа они – родные, для каждого времени – современники, и даже более – предвестники будущего.

Вот почему, кроме научной критики, у которой есть пределы, так как всякий предмет исследования может быть исчерпан до конца, – кроме объективной художественной критики, которая также ограничена, ибо раз навсегда может дать писателю верную оценку и более не нуждаться в повторениях, – есть критика субъективная, психологическая, неисчерпаемая, беспредельная по существу своему, как сама жизнь, ибо каждый век, каждое поколение требует объяснения великих писателей прошлого в своем свете, в своем духе, под своим углом зрения.

В этом издании собран ряд небольших очерков (появлявшихся в печати от 1888 до 1896 г.) – как бы галерея миниатюрных портретов великих писателей разных веков и народов – для русской публики в значительной мере великих незнакомцев, ибо, кроме их имени, русский читатель до сих пор знает о них разве по отрывкам неудовлетворительных переводов или по безличным выдержкам из курсов литературы справочных книг.

За это соединение столь различных, по-видимому, чуждых друг другу, имен в одну семью, в одну галерею портретов, могут упрекнуть автора в отсутствии систематической связи. Но он питает надежду, что читателю мало-помалу откроется не внешняя, а субъективная, внутренняя связь в самом я, мирозерцании критика, ибо – повторяю – он не задается целями научной или художественной характеристики. Он желал бы только рассказать со всей доступной ему искренностью, как действовали на его ум, сердце и волю любимые книги, верные друзья, тихие спутники жизни.

Это – записки, дневник читателя в конце XIX века.

Субъективный критик должен считать свою задачу исполненной, если ему удастся найти неожиданное в знакомом, свое в чужом, новое в старом.

Д. Мережковский
Ноябрь 1896

Акрополь

Мне давно хотелось побывать в Афинах. Это была моя мечта в продолжение многих лет. Я проехал через Южную Францию в Северную Италию. Недели три прожил во Флоренции. Удивительный город. Благодаря солнечному свету, чистому и нежному, благодаря воздуху, мягкому и прозрачному, о каком мы в Петербурге и понятия не имеем, все там кажется прекрасным, каждый предмет, даже самый прозаический, скульптурным. Краски – не столь яркие, как, например, в Неаполе или Венеции, скорее тусклые и однообразные, но зато очертания далеких холмов, деревьев на горизонте, средневековых зданий, – каждая форма, каждая выпуклость точно из особенного драгоценного вещества. Живешь в этом солнечном свете, в этом воздухе, как в непрерывном сне.

По этому берегу мутного Арно ходил Данте Алигиери и обдумывал «Божественную комедию». От каждого стиха мрачной поэмы веет флорентийским воздухом, на страшных описаниях «Ада» виден как будто слабый отблеск этого нежного солнца. Вот на склоне горы, среди кипарисов, вилла Пальмери, где происходило знаменитое собрание дам и кавалеров, рассказывавших друг другу сказки во время флорентийской чумы, как о том передает веселый Боккаччо в «Декамероне». Вот холм, где некогда была обсерватория Галилея. Вот дом Микель-Анжело Буонаротти. Я вхожу в него, вижу его рисунки, модели и рукописи. Вот народная площадь;¹ собор Marie del Fiore;² «райские» двери крестильницы, вылитые из бронзы великим Гиберти; Венера Медичейская... Это сделал на маленьком клочке земли маленький народ. Что это были за люди – как они жили, как были не похожи на нас, сильные и свободные!

Дворец Питти,³ в котором собраны самые нежные, воздушные создания кисти Рафаэля, Бартоломео, Тициана, Мурильо, Джорджоне, весь построен из огромных кусков дикого камня, даже неотесанного. Эти люди так любили все простое, прямо вышедшее из рук природы, что боялись исказить первобытную красоту камня, обтесывая и сглаживая неровности. Глыбы нагромождены на глыбы, в основании дворца, точно скалы; столь царственного здания больше нет нигде на земле. Кое-где, среди серого, грубого камня, львиные головы с открытой пастью, из которой бьет вода в мраморные бассейны... Зодчий презирает все, что искусственно и вычурно. Да, нужно быть таким простым, таким первобытно-искренним, чтобы быть великим. Чувствуется, что этот дворец выстроил себе не мелкий тиран, а сильный человек, вышедший из лона великого народа. И во всем – дух народа. Тут понимаешь, что значит не любить своего народа, какое безумие надеяться что-нибудь создать вне его и без него.

Таланты, как Гирландайо или Вероккио – художники, подготовившие расцвет флорентийской живописи, – могли возникнуть и в другой стране и в другую эпоху. Но нигде в мире они не имели бы того значения, как именно на этом маленьком клочке земли, у подошвы Сан-Миньято,⁴ на берегах мутно-зеленого Арно.⁵ Только здесь у Гирландайо мог явиться такой ученик, как Буонаротти, у Вероккио – Леонардо-да-Винчи. Нужна была атмосфера флорентийских мастерских, воздух, насыщенный запахом красок и мраморной пыли, для того, чтобы распустились редкие цветы человеческого гения. Как будто мрачный и пламенный дух неукротимого народа долго томился в своей немоте, искал воплощения и не мог найти. Он едва брезжит, как бледная полоска в утренних тучах, – в больших глазах еще иконописных, полувизантийских мадонн Чимабуэ, он проясняется в реализме Джотто, сияет уже ярким светом у

¹ площадь Синьории

² Церковь Флорентийского собора (1420–1436) с восьмигранным куполом. Арх. Филиппо Брунеллески.

³ Создан во 2-ой половине XV в. В середине XVII в. в нем была организована картинная галерея.

⁴ Холм на юге Флоренции.

⁵ Река, на берегах которой расположена Флоренция.

Гирландайо, у Вероккио, на время отклоняется в религиозной живописи Фра Анжелико, чтобы вдруг, наконец, как молния, все озарить – в Микель-Анжело и Леонардо-да-Винчи. Какое торжество для народа! Отныне флорентийский дух нашел себе полное выражение, неистребимую форму.

Вокруг могут происходить всевозможные перевороты, все может рушиться: Флоренция Возрождения сама себя нашла, она бессмертна, как Афины Перикла, как Рим Августа. Я узнаю резец Донателло в отчеканенных, металлически звучащих терцинах Аллигиери. На всем печать свободного флорентийского духа. Он чувствуется в самых ничтожных подробностях архитектуры: в прекрасных чугунных грифонах,⁶ которые вбиты в камень на уличных перекрестках по углам палаццо, чтобы поддерживать факелы ночью. Так в двустии греческой эпиграммы я узнаю дух Гомера, в обломке мрамора, наполовину скрытом мхом и землей, – стиль ионической колонны. На всех созданиях истинно великих культур, как на монетах, отчеканен лик одного властелина. Этот властелин – гений народа.

Чем больше я всматривался в создания Renaissance'a, тем более чувствовал, что невозможно проникнуть в дух нового человека, не побывав в Греции, не увидев собственными глазами воплощение древнего эллинского духа. Он лежит как глубочайшая, иногда бессознательная, основа во всем, что творят истинно прекрасного и вечного художники новых времен. Есть греческое спокойствие и совершенная чистота линий в мадоннах Рафаэля, который считал греков своими учителями. В библиотеке Лаврентия Медичи я встретил, рядом с древними рукописями Данте и Петрарки, «Энеиду» Вергилия на пергаменте VI века. Недаром божественный Вергилий – спутник Данте в Аду средних веков. Когда я смотрел на бронзовые двери крестильницы и любовался воздушными, чисто эллинскими складками туник древнебиблейских женщин в сценах из «Пятикнижия» Моисея, мне вспоминалось невольно то, что я видел раньше в помпейских картинах. В бронзе Гиберти – та же древняя грация, полнота жизни и спокойствие, как в обнаженном теле юноши Давида у Микель-Анжело, в его Леде и Вакхе. И тот же отблеск эллинской музыки в терцинах Данте. Всюду во Флоренции неотступное воспоминание о ней. Что же люди создали там, на клочке каменистой, бесплодной аттической земли? Почему народы через двадцать веков после торжества христианской проповеди, уничтожившей Олимп, не могут забыть о веке Перикла? Что там было? Я понимал, что никакими книгами, никакими словами нельзя передать эллинского духа. Должно быть, то же чувство, непреодолимое и священное, влекло средневековых пилигримов в Иерусалим, которое теперь влечет меня в Акрополь...

Несмотря на все мои ожидания, и, может быть, именно благодаря им, Адриатическое море на меня не произвело особенного впечатления – море как море.

Так бывает почти всегда: когда приближаешься к тому, чего слишком долго и сильно желал, сердцем овладевает непонятная грусть и разочарование. И я смутно начинал бояться, что Афины не дадут мне того, чего я ожидал.

Впечатление от моря не сравнимо ни с чем и всегда ново. Нельзя налюбоваться изменчивостью и постоянством «свободной стихии». Каждое мгновение она принимает новые оттенки, у нее нет мертвенной неподвижности гор: она живет. И вместе с тем, от первого дня творения и до последнего, море остается таким, как было – оно неизменно.

В природе нет ничего величественнее простой черты горизонта там, где вода сливается с небом. Все другие, более сложные линии и очертания на земле, как бы они ни были прекрасны, кажутся ничтожными перед этим величайшим, доступным для людей, символом бесконечности.

Но в этот раз – не знаю почему – сердце мое оставалось холодным. Я искал прежних впечатлений от моря и не находил. Мне казалось, что я еду по какой-то гигантской геогра-

⁶ (фр.) griffon от (греч.) gryps – в античной мифологии крылатый лев с орлиной головой

фической карте. Кое-где мелькали, выплывая из моря и потом опять погружаясь в него, воздушно-голубые острова Архипелага.

Я затаил в душе моей сомнения относительно Греции.

С этим сомнением переправился я с парохода в маленький городок Корфу.⁷ В первый раз в жизни я ступил на эллинскую землю. Меня встретили довольно противные лица туземцев, пыль, вонь и жара. Пошли непонятные драхмы, лепты и оболы вместо понятных и благородных франков. Я сразу почувствовал, что из Европы попал в Азию, но не в настоящую дикую Азию, а в полукультурную, т. е. самую неинтересную. Черномазые греки напоминали мне петербургских продавцов губок в Гостином дворе. Солнце палило несносно. Я чихал и кашлял от белой, знойной пыли и был рад, когда опять выехал в открытое море, и вольный ветер освежил мое лицо. Говорили, что в Афинах будет еще жарче. Я смотрел уже с глубоким равнодушием на берега Эллады. Промелькнул очаровательный остров Зантэ.⁸ Теперь, глядя на серое небо Петербурга, я с нежностью и печалью повторяю это имя...

Мы приближались к обрывистым скалам Мореи,⁹ где была Спарта¹⁰ на юго-востоке Пелопоннеса, древний Лакедемон.¹¹ Обогнули знаменитый, страшный древним мореплавателям мыс Матапан.¹² – самую южную точку Европы..

«Завтра я увижу Афины», – сказал я себе, ложась на койку, и заснул с безмятежным равнодушием.

Рано утром, выйдя на палубу, я увидел амфитеатр спускавшихся к морю гор и холмов, с легкими очертаниями. Это были берега Аттики.

Я посмотрел в бинокль на выходивший как будто из самого моря остроконечный холмик. На его вершине что-то неясно мелькало.

Стоявший рядом со мною австриец произнес: «Акрополь».¹³

Сердце мое пробудилось в первый раз после отъезда. Но я тотчас же победил волнение. Мне почему-то нравилось мое равнодушие.

Соленая влага пенилась и шумела. Мы въезжали в огромный залив; в тумане подымались обрывистые горы Коринфского перешейка. Вот Саламин,¹⁴ вот мыс Сапиум,¹⁵ где до сих пор сохранились дивные колонны храма Паллады.¹⁶

Мне иногда казалось, что все это я вижу во сне.

К десяти часам утра мы въехали в Пирей.¹⁷ Помню, еще мальчиком, я повторял с восторгом стихи А. Н. Майкова:

...Беги со мною!..
...Уйдем скорей!..
Возьмем корабль! летим стрелой
К Афинам, в мраморный Пирей:
Там все иное – люди, нравы!

⁷ итальянское обозначение о. Киркира на северо-западе от материковой Греции, в котором сохранились архитектурные детали храма Артемиды (ок. 590 до н. э.)

⁸ итальянское название о. Закинтос, входящего в группу Ионических островов

⁹ (Пелопоннес), полуостров в южной части Греции

¹⁰ центр области Лакония

¹¹ официальное название Спарты как государства

¹² (Тенарон), мыс в Лаконике, где, по преданию, находилась пропасть, являвшаяся входом в подземное царство.

¹³ Афинский Акрополь построен на скале удлиненной формы с плоской вершиной.

¹⁴ остров и город между Аттикой и мегарским побережьем

¹⁵ (Сунион), мыс на юге Аттики, к юго-востоку от Афин.

¹⁶ Афина-Паллада, греческая богиня мудрости, покровительница городов.

¹⁷ Пирей – порт Афин в заливе Сароникос.

Там покрывал на женах нет!
Мужам поют там гимны славы.
Там воля, игры, жизнь и свет!..¹⁸

И мы въехали в Пирей. Самая прозаическая торговая гавань. Уродливые железные бронеосцы, закоптелые от каменноугольного чада торговые пароходы, конторы, бюро, агентства, громадные сараи. Ни кустика, ни травки, ни садика на выжженных, печальных холмах. Из фабричных труб валит черными клубами дым, уносясь в бледно-голубое аттическое небо. Визжат блоки, грохочут цепи и машины. Вот он – «мраморный Пирей»!

Я нанял лодку и отправился на берег. Утреннее солнце жгло беспощадно. Что будет в Афинах? Ступив на пыльную набережную, я почувствовал отчаяние.

Никогда в жизни я не испытывал такой жары. Казалось, что огромная тяжесть навалилась на голову и плечи. В ушах шумело, и ноги подгибались. Для нас, северных людей, в таком солнце есть что-то лютое, почти страшное. Я понял здесь, что у Гелиоса-Аполлона стрелы могут быть смертоносными.

В душном вагоне железной дороги, соединяющей Пирей с Афинами, казалось не то что прохладнее, а возможнее дышать.

Наконец я вышел на грязный, зловонный вокзал в Афинах.

Нас окружили бесчисленные гиды от которых невыносимо пахло чесноком. Мы кое-как от них отделались. Я не взял ни одного, чем привел в негодование всех.

Мы влезли в огромную, дребезжащую колымагу, вроде кареты, запряженную отвратительными клячами. В это время года (в конце мая) в открытых экипажах здесь нельзя ездить без некоторой опасности солнечного удара.

Кажется, если бы я увидел теперь не только Акрополь, но собрание олимпийских богов, я бы остался бесчувственным и разве попросил бы бога-тучегонителя затмить это солнце.

После долгих криков, понуканий, хлопанья бича, мы, наконец, взобрались на холм по крутой, обрывистой дороге. Колымага остановилась. Кучер отворил дверцы, и мы вышли.

Я взглянул, увидел все сразу и сразу понял – скалы Акрополя, Парфенон,¹⁹ Пропилеи,²⁰ и почувствовал то, чего не забуду до самой смерти.

В душу хлынула радость того великого освобождения от жизни, которое дает красота. Смешной заботы о деньгах, невыносимой жары, утомления от путешествия, современного, пошленького скептицизма – всего этого как не бывало. И – растерянный, полубезумный – я повторял: «Господи, да что же это такое».

Вокруг не было ни души. Сторож открыл ворота.

Я чувствовал себя молодым, бодрым, сильным, как никогда. Под отвесными лучами солнца надо было подниматься по раскаленной каменной лестнице между раскаленными стенами. Но это были те самые ступени, по которым шествовали в Акрополь панафинейские праздничные *феории*.²¹

И когда двери закрылись, мне показалось, что все мое прошлое, все прошлое человечества, все двадцать болезненных, мятущихся и скорбных веков остались там, позади, за священной оградой, и ничто уже не возмутит царящей здесь гармонии и вечного покоя. Наконец-то настало в жизни то, для чего стоило жить! И странно: как во всех очень важных, единственных обстоятельствах жизни, мне казалось, что я все это уже где-то и когда-то, очень давно, видел и пережил, только не в книгах. Я смотрел и вспоминал. Все было родным и знакомым.

¹⁸ Поэма А. Н. Майкова «Жрец» (1848, 1858).

¹⁹ Парфенон – мраморный храм Афины (447–438 гг. до н. э.); построен Фидием.

²⁰ монументальные крытые ворота Афинского Акрополя (430-х гг. до н. э.)

²¹ (Панафиней) – основной праздник в честь богини города Афин, сопровождавшийся торжественным факельным шествием, музыкальными и атлетическими состязаниями и завершавшийся жертвоприношениями.

Я чувствовал, что так и должно быть и не может быть иначе, – и в этом была радость.

Я восходил по ступеням Пропилей, и ко мне приближался чистый, девственный, многоколонный на пыльной побледневшей лазури полуденного неба, несказанно прекрасный – Парфенон...

Я вошел, сел на ступени портика под тенью колонны. Голубое небо, голубое море и белый мрамор, и солнце, и клекот хищных птиц в полуденной высоте, и шелест сухого колючего терновника. И что-то строгое и сурово божественное в запустении, но ничего печального, ни следа того уныния, чувства смерти, которое овладевает в кирпичных подземельях палатинского дворца Нерона,²² в развалинах Колизея. Там – мертвое величие низвергнутой власти. Здесь – живая, вечная красота. Только здесь, первый раз в жизни, я понял, что такое – *красота*. Я ни о чем не думал, ничего не желал, я не плакал, не радовался – я был спокоен.

Вольный ветер с моря обвевал мое лицо и дышал свежестью.

И не было времени: мне казалось, что это мгновение было вечно и будет вечно.

Я обошел Акрополь, маленький храм богини Nike Apterae («Бескрылой Победы»),²³ Эрехтейон²⁴ с девами-кариатидами, Парфенон, Пропилеи.

Я смотрю на гладкую, совершенно голую стену в Пропилеях. Кажется, что может быть красивого в голой стене? Но четверугольные продолговатые куски мрамора так нежно отполированы, так гармонично расположены, что и здесь вы чувствуете печать эллинского гения. Солнечный свет как будто проникает мрамор насквозь, и ничто не может сравниться с голубой, легкой тенью, которая углом ложится от соседней стены на мраморную поверхность.

Здесь, над крутым обрывом, откуда виднеется море и свидетель эллинской славы – остров Саламин, возвышается маленький храм Победы.²⁵ Греки назвали ее *Бескрылой* – в знак того, что она должна вечно оставаться в Афинах. Храм Nike миниатюрный по внешним размерам: он едва ли больше, чем средняя комната в наших современных домах. Но какая стройность! Великое в малом. Вот что отличает греческую архитектуру от римской, от средневековой. Римляне действуют внешней грандиозностью, подавляющими размерами своих зданий. Но у них под плитами мрамора – кирпич. Развалины римских зданий производят впечатление огромных, мрачных остовов. В Акрополе ни одного кирпича. Вы ступаете на белую мраморную пыль. Под ногами искрятся и хрустят, как снег, обломки пентеликонского камня²⁶... Здесь не утоляет зрение. Надо ощупывать каждую выпуклость мрамора, пожелтевшего от древности, золотистого, пропитанного солнечным светом, теплого, как живое тело. Не верится, чтобы человеческие руки могли создать Парфенон, Пропилеи, Эрехтейон. Они сами вышли из недр земли по законам божественным, не человеческим. Недаром кругом на выжженных холмах и равнинах ни дерева, ни кустика. Вместо деревьев, из каменной земли, под знойным солнцем Аттики, выросли эти белоснежные колонны и увенчали красноватые глыбы Акрополейского утеса. Кругом ни одного зеленого листика. И не надо деревьев.

В Эрехтейоне я наклонялся к некоторым обломкам, покрытым мелкими, сложными арабесками. Я хотел узнать, нет ли малейшей неточности резца, случайной небрежности. Но чем ближе всматривался я, тем больше понимал, что совершенству нет пределов. В какой-нибудь мелочи, которой надо любоваться чуть ли не в лупу, в мраморном завитке, в меандре,²⁷ в коринфской пальмовой ветке – такая же непогрешимая точность, законченность и гармония, как в очертаниях целого.

²² холм Палатин (или Палапий) – самый знаменитый из семи холмов Рима

²³ Храм (449–421 г. до н. э.), расположенный недалеко от Пропилей на выступе скалы.

²⁴ второй после Парфенона храм Акрополя (421–406 до н. э.), посвященный Афине и Посейдону

²⁵ В Саламинском проливе в 480 г. до н. э. греки одержали победу над персидским флотом, которая привела к объединению греческих государств.

²⁶ мрамор из отрога Пентеликон (Брилесс) горы Парнет на северо-востоке от Афин.

²⁷ орнамент в виде ломанной под прямым углом линии

И все это, кажется, без труда, само собой вышло из рук ваятеля. Твердый, белый камень, над которым пролетели 2000 лет, не тронув его красоты, под резцом художника мягче воска, нежнее только что распустившихся лепестков лилии.

Люди здесь к природе ничего не добавили своего. Красота Парфенона и Пропилеи – только продолжение красоты моря, неба и строгих очертаний Гимета²⁸ и Пентеликона. В северных зданиях люди уходят от природы не доверяют ей, прячутся в таинственный полумрак между стрельчатыми колоннами, пропускают солнечный луч сквозь разноцветные стекла, зажигают перед страдальческими ликами угодников тусклые лампы, заглушают звуки жизни звуками органа и покаянным воплем:

Dies irae, dies ilia
Solvat saeculum in favilla.²⁹

А здесь, в Элладе, человек отдается природе. Он не хочет, чтобы здание скрывало ее. Вместо крыши в Парфеноне – небо. Между белыми колоннами – голубое море. И всюду – солнце. Нет уголка, откуда не виднелась бы даль. Воздух, солнце, небо, море – вот материал в руках зодчего. Простые, умеренные, спокойные линии мрамора – то отвесные, то поперечные – служат ему для того, чтобы яснее ограничить, окружить рамкой, выделить в природе то, что человек считает в ней прекрасным и божественным. Перенесите Акрополь в другое место, в другой пейзаж, и следа не останется от его красоты. Здесь полная, никогда уже более не повторявшаяся гармония между творениями рук человеческих и природой: величайшее примирение этих двух, от вечности враждующих начал – творчества людей и творчества божественного. *Согласно с природою!* Вот основа и вдохновение всей греческой архитектуры.

В портике, между двух колонн, я вижу море. Разве я и раньше не видал его? Но я никогда не знал *такого* моря. Между колоннами оно так же, как небо, и горы, и солнечная даль, принимает какой-то новый смысл – *эллинское выражение*. Это уже вовсе не та практически утилитарная «водная поверхность», по которой ходят железные броненосцы и современные торгово-промышленные пароходы, это вечная thallasa³⁰ лазурная, кипящая влага, из которой вышла Венера-Анадиомена,³¹ богиня красоты.

Так в Парфеноне, с грустью вспоминая нашу скучную жизнь, я думал: мы больше не умеем творить *согласно с природою*. Вот уже двадцать веков, как мы отошли и отреклись от нее. Безумные, бессильные! Чего мы ищем? Куда идем? Что поселило в нашем сердце смятение, недоверие к природе, страх перед жизнью и перед смертью? Нет у нас в душе ни героизма, ни счастья. Мы гордимся нашими знаниями и теряем образ человеческий, становимся подобными варварам среди унылой и нелепой роскоши, среди грандиозных изобретений современной техники; мы одичали в наших безобразных гигантских городах – этих твердых из камня и железа, воздвигнутых против стихийных сил природы...

Только здесь, в Акрополе, понимаешь, что значит дух свободного, великого народа.

Все, что мы разделяем так мучительно и упорно; все, что доводит нас до невыносимых противоречий – небо и земля, природа и люди, добро и зло, сливалось для древних в одну гармонию. Творчество художника было высшим подвигом, и подвиг героя – высшею ступенью красоты. Это – два откровения одного начала. Единое в единой душе человека.

²⁸ Гиметт) – равнина в районе Афин.

²⁹ «День гнева, этот день обратит мир в пепел» (лат.) – начало католической заупокойной мессы.

³⁰ море – (греч.)

³¹ Анадиомена – «Рожденная из пены».

Неужели нам нет спасения, и противоречия нашего ума и сердца неразрешимы? Неужели не суждено людям повторить того, что здесь было, и никогда новый Парфенон не будет создан новым эллином, богоподобным человеком на земле?

Я пишу эти строки осенней ночью, при однообразном шуме дождя и ветра, в моей петербургской комнате. На столе у меня лежат два маленьких осколка настоящего древнего камня из Парфенона. Благородный пентеликонский мрамор все еще искрится при свете лампы... И я смотрю на него с суеверной любовью, как благочестивый паломник на святыню, привезенную из далекой земли.

Трагедия целомудрия и сладострастия

В Москве, в нынешнем году, поставлена трагедия Софокла «Антигона», судя по многочисленным отзывам – тщательно, но едва ли вполне удачно, с излишними сценическими эффектами.³²

Значение хоров, в которых заключена вся мудрость и поэзия трагедии, ослаблено, потому что их превратили в оперные хоры. Публике, впрочем, это понравилось: вероятно, без оперы она бы скучала от однообразной простоты великих слов и не столь охотно посещала бы представления. Но во всяком случае постановка греческой трагедии у нас, и то, что толпа любопытствовала и шла в театр – есть уже событие. Оно говорит о едва нарождающемся, смутном желании что-то понять, прежде совсем ненужное, обратить взоры в ту сторону, куда прежде вовсе не смотрели. Но может быть нехорошо, что нашей младенческой толпе, чтобы привлечь и забавить ее, чтобы остановить ее внимание, – делают вечные уступки: дают оперу в трагедии, скрывая под семитическими сентиментально нежными мелодиями Мендельсона суровые и беспощадные пророчества древнего элина; из других трагедий – выбрана первой Антигона, произведение высокое и совершенное, но все-таки менее дерзновенное, чем остальные части трилогии – Эдип-Царь и Эдип в Колонне. Те, от кого зависел выбор трагедии, думали, вероятно, что Антигона современнее. Но ее только скорее, чем какую-либо иную трагедию, можно «приспособить» к современной сентиментальности, понять со стороны неглубокой, общедоступной, мнимо христианской чувствительности – что, вероятно, большинство публики, не скучающей во время представления, и делает. Современность гораздо шире и глубже, чем случайное сентиментальное волнение, которое может дать среднему человеку ложно понятая Антигона. И если взоры людей невольно обращаются назад, к великим произведениям древности, со смутной надеждой найти в них звуки наших дней, – почему не дать им то, в чем звуки эти яснее и совершеннее, почему не показать живую связь прошлого с будущим без прикрас, уступок и смягчений?

Эврипид, в сравнении с Эсхилом и Софоклом, казался некогда трагиком упадка. Его находили слишком утонченным, изысканным, лишенным той громовой силы, которая есть у его предшественников, упрекали за то, что он отошел от правды жизни и допустил чудесное в своих трагедиях. Но так ли это?

Действительно, боги развязывают у него узлы человеческих страстей сверхъестественным вмешательством; он обнажает два вечные начала мира, «Я» и «не-Я», Аполлона и Диониса, до последней, почти безобразной, наготы, он знает борьбу между ними и уже символизирует ее в «Ипполите» борьбой двух богинь – Афродиты и Артемиды. Может быть, у него уже слишком много сознания, что лишает его стихийной, первобытной мощи Эсхила и совершенной гармонии Софокла; но именно это острое и тонкое сознание и преобладание его над стихийностью, глубокая прозрачность символов, разлад, ослабляющий и углубляющий его, и приближают к нему нас, людей с душами, едва пробудившимися к сознанию, еще такими же раздвоенными, как душа Эврипида. Так же, как он, мы поняли, что трагедия мировой жизни заключается в окружающей, в проникающей нас великой борьбе двух великих начал; так же, как он, увидели, что говорить о ней можно только символами, и как он – слишком острым и тонким сознанием еще не сумели найти последней гармонии последнего соединения.

Афродита – сила, сладострастие и красота – идет против Артемиды, целомудренной, строгой, нежной – и такой же сильной и прекрасной. Обе они равно прекрасны – и потому равно правы. Вечная борьба их не оканчивается и никогда не окончится в трагедии мира поражением одной, победой другой, и эта борьба не нарушает их олимпийской тишины и ясности,

³² Премьера «Антигоны» состоялась в Московском Художественном театре 12 января 1899 г.

совершаясь *только* внизу, на земле, в сердцах человеческих. Артемида говорит Тезею,³³ после гибели Ипполита:

А есть такой обычай у блаженных,
Что на своих в семье богов никто
Не восстает, но каждый уступает.
Не то, поверь, не стала бы терпеть
Я, гордая, такого униженья.
Чтоб из людей того, кто для меня
Дороже всех, невинного казнили.
Но как над ним ты должен плакать,
смертный,
Когда и мне его, богине, жаль.³⁴

Молниеносную Афродиту-мстительницу Хор называет беспощадной:

Эрос, Эрос! Желанья
Ты вливаешь через очи
В душу тех, кого губишь,
Проникая в сердца
Упоительной негой...
Не являйся мне. Эрос,
Разрушающей силой,
Беспощадным врагом,
Нет, слабей огонь пожара
И светил, враждебных людям,
Смертоносные лучи,
Чем из рук твоих любезных
Стрелы нежной Афродиты,
Олимпийское дитя.

И далее:

Диркейский колодезь,
Священные Фивы,
Вы помните ярость
Богини любви.
Там Семелу, Дионисия
От Крониона зачавшую,
Не на радость полюбившую,
Ты сожгла, Киприда, молнией:
Губишь ты своим дыханием,
А потом, золотокудрая,
Улетаешь, как пчела!

³³ (Тесей) – отец Ипполита, ставший виновником смерти сына из-за наговора своей жены.

³⁴ Трагедия Эврипида «Ипполит» в переводе Д. С. Мережковского.

Богиня Сладострастия мстит человеку, непокорному ей, чтущему в сердце своем Богиню Целомудрия; убивает его и губит невинную Федру,³⁵ «сжигает ее своим дыханием». Ипполит умирает, его должны принести к отцу; и вдруг, среди горя и плача, среди несчастий, созданных Афродитой, перед самым появлением Артемиды, Хор возглашает радостный, как бы победный гимн:

Гордое сердце богов и людей
Ты, Афродита, смиряешь;
Веет над ними, порхая, твой сын,
Легкий на радужных крыльях,
И над певучей соленой волной
И над землею летает...
Укрощает Эрос
И зверей свирепых,
На горах живущих, —
Только что в их душу
Темную проникнет
Золотым лучом; —
И морских чудовищ,
И несметных тварей,
Вскормленных землею,
Озаренной оком
Солнца – и людей!
Всем повелевает.
Надо всем, Киприда,
Ты одна царишь.

Какая тишина, какое благоволение к злой силе прекрасного!

В этот миг является Артемида, не побежденная и не победившая, чистая, справедливая и холодная. Она снимает клевету с Ипполита:

О, милый мой, для мук ты был рожден
И жить с людьми не мог, затем,
что слишком
Была для них душа твоя чиста.

Но, когда он, умирающий, взывает к ней:

О, Артемида, Взгляни, как я страдаю!..

Богиня отвечает ему кротко:

Вижу все, Но слезы лить не должно нам,
блаженным.

Ипполит в безумии ропота восклицает:

³⁵ мачеха Ипполита, влюбившаяся в своего пасынка

Зачем проклясть богов не могут
люди?

Но Артемида утешает его, безгневно обещает отомстить Афродите, убив человека, который ей дороже всех. Борьба продолжается в бесконечность, и поле битвы все то же сердце человека. Эврипид понимает, что эта борьба богов есть истинная жизнь людей, что она – биение их сердца, движение крови, усилие и победа мысли. Мир – две чаши весов, вечно колеблющихся, две разные и равные чаши, с одной трепетной стрелкой вверху. И только две, соединенные и далекие, они могут существовать, обреченные на ничтожество одна без другой:

Если о мудрости вечных богов
помышляю,
В сердце моем утихает тревога,
И понимать начинаю
Волю бессмертных
В мире земном.

Прошло много веков, борьба Артемиды и Афродиты проявлялась многими символами, люди познали галилейское учение целомудрия,³⁶ смирения, отречения и покорности, не побежденное радостью жизни и солнца – но и не победившее их.

Эврипид как будто за много веков прозревал неведомое новое учение и носил его в душе своей. Это смутно чувствовали люди старой русской церкви, тихие и глубокие, более нас близкие к тайне жизни, потому что они в эту тайну хотели проникнуть, тогда как теперешний средний человек, под корой сонной нехристианской и неязыческой пошлости, – к ней равнодушен. Наши древние иконописцы изображали языческих мудрецов, поэтов и сибилл, предвещавших Мессию. И в Вяжицком монастыре, в храме святого Николая (1462 г.), под Спасителем, сидящим на престоле, изображен: «Трагик Эврипидий» со свитком *«Аз чаю неприкосновенному родиться от Девы и сокресити мертвья и паки судити им»*.

В Петербурге, на частной сцене, предполагается постановка «Ипполита», с возможной верностью и строгостью. Обещано участие артистов Императорских театров. Хоры будут сопровождаться музыкой, которую напишет бар. Е. Овербек. Полное подражание древней обстановке недостижимо – да и ненужно. Все мелочное, временное уходит со временем, остается лишь вечное, и ясною должна быть только цепь, соединяющая наши помыслы и желания с душой великого поэта и пророка. Антигона может растрогать на минуту доброго, среднего человека, может испугать и ослепить душу более глубокую; но надо, чтобы нежный девственный Ипполит заговорил со сцены, чтобы Богиня Целомудрия, Артемида, и Богиня Сладострастия, Афродита, страшная как смерть, золотая и легкая как пчела, – стали вновь лицом к лицу в вечной борьбе, губя и возвеличивая сердца человеческие, и тогда, может быть, многие, смутно или ясно, вдруг почувствуют, как две чаши весов мира, разные и равные – колеблются, и как дрожит между ними, вверху, единая стрелка, не умея найти последнюю неподвижность.

³⁶ христианство

Марк Аврелий

I

Передо мною последний том громадного исторического исследования Ренана – книга, озаглавленная: «Marc Aurèle et la fin du monde antique».³⁷ Это одно из самых блестящих характерных созданий его гения.

Сентиментальный и чувственный культ художественного католицизма, несмотря на отречение от него Ренана, оставил на нем неизгладимые следы. Эпохи мистического созерцания ему более симпатичны и доступны, чем эпохи сильного религиозного творчества и борьбы. Темперамент писателя лучше всего узнается по стилю. В этом отношении Ренан – полная противоположность Тэну. Язык Тэна стремится к чрезмерному изобилию образов, к роскоши и силе. Он не чужд пестроты, гипербола и преувеличений. Тэн подражает колориту Рубенса, которого он любит. Таков характер его творчества. Тэн по преимуществу описывает эпохи крайнего напряжения воли, сосредоточенного драматизма и действия – революцию, Возрождение, с его великими характерами и борьбой страстей. Он любит изображать темпераменты цельные, с избытком жизненной силы и воли, как Свифт, Рубенс, Бетховен, Наполеон.

Стиль Ренана прежде всего удивляет простотою. Он напоминает древних благородным изяществом, чуждым всех украшений. В конце концов, сила в языке Тэна переходит в напряжение, а напряжение утомляет и делается однообразным: если долго всматриваться в образы Тэна, яркость начинает казаться пестротою, и этот слишком красивый язык, оснащенный романтическими контрастами и образами, может, наконец, пресытить читателя, как слишком пряное блюдо. Ренан никогда не пресыщает. В его легком классически-прозрачном стиле есть спокойная грация. Без толчков, без сотрясений он подымает нас незаметными переходами, как будто по волнообразным холмам, на недостижимую высоту, с которой обрывистые вершины романтического вдохновения кажутся небольшими возвышенностями. Мы понимаем, что в писателе спокойствие столь же драгоценно, как сила: великая тишина – такой же признак гения, как и великое волнение. Ренан перестал быть священником, но он остался pontifex maximus³⁸ Неведомого Бога. Если он и снял рясу, то все-таки считает неприличными слишком резкие и быстрые движения: по его тихой, торжественной манере вы можете узнать человека, привыкшего священнодействовать. Иногда в этом спокойном, глубоком стиле современного парижского скептика слышатся далекие отголоски органа, тихие церковные напевы, залетевшие откуда-то из-под сводов католического собора.

Темперамент Ренана прежде всего аристократический. Вот что препятствует ему проникнуть в психологию массовых движений: Ренан бессознательно боится толпы, и тем более взволнованной, фанатической толпы; как бы он ни изучал ее, она остается ему навеки чуждой. Он не терпит ничего резкого и порывистого. Чрезмерная сила страсти кажется ему грубой и оскорбительной; он отворачивается от нее так же, как от чрезмерной силы веры, на которую, впрочем, смотрит редко с негодованием, как на фанатизм, – чаще с грустной снисходительной улыбкой, как врач на проявление хорошо известной ему болезни. Он не выносит слишком громких криков – ни священного экстаза, ни гневной толпы, ни предсмертных страданий. Он набрасывает на агонию своих мучеников успокоительную дымку; они умирают у него спокойно и красиво: невольно кажется, что в действительности было страшнее. Он придает их последним минутам не более трагизма и ужаса, чем могут вынести нервы современной светской жен-

³⁷ Марк Аврелий и конец античного мира (*фр.*).

³⁸ верховный жрец (*лат.*).

щины. И к этому побуждает его не только аристократизм темперамента, но и то внешнее благолепие, которое соблюдают жрецы всех времен и всех верований, даже жрецы неверия.

Эпоха, описанная в «Марке Аврелии», – от шестидесятых до восьмидесятых годов второго века – в высшей степени доступна проникновению Ренана, благодаря свойствам его темперамента. Это по преимуществу эпоха философского созерцания, а не народного творчества; аристократической мудрости, а не бурных массовых движений; внутренней жизни, а не внешнего действия. Кончились пять актов всемирной трагедии христианства, продолжавшейся от царствования Тиверия до смерти Антонина. Подъем человеческого духа, создавший новую религию, начинал ослабевать; гений народов, утомленный творчеством, стремился к отдыху. Свободные верования сердца люди снова записывали на скрижали догматов. Вместе с тем трагедия дома Цезарей завершилась ясным веком – как будто тихим закатом после бурного дня – веком Траяна, Адриана и Антонинов. В грядущем предстояли последние бури, последняя борьба язычества с христианством, античного мира с варварами. Эпоха Марка Аврелия – недолгий перерыв, глубокое затишье между двумя бурями. Бывают осенние дни, когда летние грозы прошли, а поздние ненастья еще не наступили – когда в туманном воздухе, в мягком, бледном свете солнца царит усталость, нежная грусть и успокоение, как будто примирение со смертью...

Такой осенний день в истории – век императора Марка Аврелия. По-видимому, всюду распространяются блага римской цивилизации – «*рах Романа*»;³⁹ и вместе с нею внешнее счастье, просвещение и материальное довольство. Народы благодарны императору, все его любят, ничто не угрожает внутреннему процветанию государства. Люди не знают, на что жаловаться, а между тем чувствуют необъяснимую, с каждым днем возрастающую тревогу и утомление. Над этим культурным обществом, завершившим цикл развития и достигшим зрелости, веет предчувствием смерти. И мудрость великого Цезаря сияет над миром, обреченным на гибель, как позднее солнце осени, никого не утешая и не радуя.

Настроение эпохи Марка Аврелия соответствует настроению конца нашего века. То же внешнее благосостояние и внутренняя тревога, тот же скептицизм и жажда веры, та же грусть и утомление. Ренану стоило только оглянуться на современное общество, чтобы заимствовать тысячи аналогий, посредством которых он умеет придавать рассказу о далеком прошлом столько жизни и художественной правды. Быть может, нет в истории ничего трогательнее, чем тяготение друг к другу, бескорыстная духовная связь, соединяющая мыслителей, разделенных веками. В самом деле, Ренан любит Марка Аврелия, как человек любит человека, родного ему по духу. Что же это за таинственное духовное сродство современного скептика с римским императором второго века? Вот с каким благоговением и нежностью говорит Ренан о культе, который воздавали Марку Аврелию после его смерти («*numen Antoninum*»):⁴⁰

«Никогда культ не был более законным, и в настоящее время мы его разделяем. О, да, все мы готовы скорбеть о Марке Аврелии, как будто вчера он еще умер. Вместе с ним царствовала философия. Благодаря ему мир одно мгновение был управляем лучшим и величайшим человеком времени. Во всяком случае важно, что опыт был сделан. Будет ли он повторен? Воцарится ли, в свою очередь, современная философия, как древняя? Найдет ли она своего Марка Аврелия, окруженного Фронтонями и Юниями Рустиками? Правление человеческими делами будет ли еще раз принадлежать мудрейшим? Впрочем, не все ли равно? Это царство не могло бы продлиться больше одного дня, и, без сомнения, еще раз за ним последовало бы царство безумцев. Привыкнув с улыбкой созерцать вечную смену человеческих иллюзий, современная философия слишком хорошо постигла закон мимолетных увлечений толпы».

³⁹ Римский мир, т. е. мир под властью Рима. (*лат.*)

⁴⁰ бог Антонин (*лат.*)

От последних строк веет безнадежным холодом, который всегда таился в душе Ренана, даже в порывах любви и нежности. Он чувствует себя таким же одиноким в современном обществе, как Марк Аврелий в Риме второго века. Неутолимая скорбь, одиночество, презрение к современникам и мистическая вера без догматов связывает таких людей, как Ренан и Марк Аврелий, через все века, культуры и религии. Они узнают друг друга и заключают союз.

II

Взглянув на древние бюсты Антонина, на это печальное, кроткое, почти христианское лицо, понимаешь, что народы недаром называли его *Pius*,⁴¹ что в самом деле святой император был добрым гением человечества. В семье Антонинов, в которой воспитывался Марк Аврелий, мудрость и добродетель были наследственными. Владычество Нервы, Траяна, Адриана и Антонина, проникнутое философским и республиканским духом, не имело ничего общего ни с грубым унижительным деспотизмом Востока, ни с преувеличенным ребяческим благоговением перед правом крови, царившим в средние века. Власть императора при Антонинах превратилась в род гражданской великой службы без риторики величия, без пышности. В этом доме ненавидели самое воспоминание о прежних великолепных развратных и жестоких цезарях. Ни блеска, ни страха, ни благоговения, – властью спокойно обладали и равнодушно делили ее между собой, заботясь о пользе государства. Таинственный ореол, окружавший трон, померк в глазах цезарей-скептиков и философов. В такой среде вырос Марк Аврелий. Адриан заметил этого тихого, печального ребенка, когда ему было еще восемь лет, и полюбил его. В продолжение двадцати двух лет Марк спокойно ждал власти. И вот когда однажды вечером Антонин в своей вилле Лориум, почувствовав приближение смерти, велел, по обычаю, перенести в комнату наследника золотую статую богини Счастья, Марк остался таким же спокойным и грустным, как прежде. Проникновением философа он постиг ничтожество всех радостей и, полный кротким, но глубоким разочарованием в людях и в жизни, ничего не ждал от власти.

Его юность протекла среди сельской природы; под наблюдением Фронтон он занимался изучением латинской риторики. Однажды философ Юний Рустик дал Марку из своего книгохранилища «Разговоры» Эпиктета. Эта книга сделала его стоиком.

Философия требовала умерщвления плоти: она походила в то время на суровый монастырский устав. С двенадцати лет царственный отрок одел грубый плащ философа, привык спать на голых досках и исполнять другие требования стоического воздержания. Мать должна была просить и настаивать, чтобы он покрыл свое жесткое ложе звериной шкурой. От этой жизни несколько раз страдало его здоровье. Время он разделял на строго определенные часы работы и созерцания, как монах. Внешностью походил на своих учителей: простая скромная одежда, небрежная прическа, истощенное тело, глаза, утомленные работой. Вопросы долга и нравственности были единственными, которые волновали и захватывали всю его душу. Но ему не доставало – как выражается историк – поцелуя феи при рождении, той страны мудрости, которая учит, что нельзя сводить жизнь на воздержание, на стоические «*abstine et sustine*»,⁴² что в мире есть, кроме долга, и радость, и смех, и солнечный свет, дарованный нам самими богами.

От философского педантизма и сухости его спасали неиссякаемая доброта и мягкость души. Встречая пороки людей, он говорил: «Таков порядок природы – такие люди по необходимости должны так действовать. Желать, чтобы было иначе, это все равно, что желать, чтобы фиговое дерево давало не свои плоды».

Народ его боготворил, несмотря на то, что император не делал черни ни малейших уступок, никогда не искал ложной популярности.

Еще со времени Адриана возвышенные принципы стоической философии начинают проникать в римское право. С царствования Антонина и Марка Аврелия кроткие законы окончательно сломили суровый дух древнего римского законодательства и превратили его в кодекс,

⁴¹ Благочестивый (*лат.*)

⁴² выдерживай и воздерживайся (*лат.*)

который впоследствии мог быть принят как основание для законов всех цивилизованных государств.

Заветным желанием императора было полное уничтожение кровавых зрелищ цирка, уже давно возмущавших нравственное чувство лучших людей эпохи. Но народ слишком любил эти игры. Когда Марк Аврелий вооружил гладиаторов во время войны с германцами, произошло чуть не восстание. Историк Капитолин рассказывает, что толпа кричала: «Он хочет отнять наши забавы, чтобы заставить нас философствовать!»

Но между тем, как в шумном амфитеатре радостные крики народа приветствовали смерть гладиаторов, в тишине кабинетов юрисконсульты работали над новыми законами, воздвигая то вековечное здание римского права, которое впоследствии способствовало уничтожению рабства. Близился день, когда Ульпиан должен был написать великие слова, неизгладимые в памяти народов: «По естественному праву все люди рождаются свободными и равными».

Тогда начинается то, что Ренан назвал «царством философов». Марк Аврелий стремился к идеалу Платона. Мудрецы окружают императора. Его бывшие учителя делаются министрами и государственными людьми. В прежнее время консульская власть была исключительно привилегией древних аристократических фамилий; теперь консулами делаются по очереди философы – Атик, Фронтон, Юний Рустикус, Клавдий Север, Прокл. Император расточает им неслыханные почести: приветствуя перед народом, обнимает, воздвигает статуи и после смерти приносит жертвы на их могилах. Со всех концов мира стекаются к нему знаменитые мыслители. Он основывает новые кафедры в Афинах и, без двора, без свиты, смешивается с толпой философов на улицах Александрии. Он смотрит на них, как на братьев, с которыми следует делить власть. В то время философия еще не успела выродиться, как в эпоху римского упадка, когда, по свидетельству одной мозаики времен императора Гонория, единственная обязанность *философа* заключалась в том, чтобы держать зонтик над госпожой и прогуливать ее компанную собачку. При Марке Аврелии философия делается почти религиозным культом. У нее свои пророки, миссионеры, исповедники и казуисты. Знатные особы держали при себе домашнего философа. Образовалась профессия мудреца: для нее надо было обладать представительной внешностью, красивой бородой, умением с достоинством носить широкую тогу. Говорят, Румелий Плавт имел при своей особе двух *докторов мудрости* – Церана и Музония, – одного грека, другого этруска:⁴³ их обязанность состояла в том, чтобы наставлениями освободить душу вельможи от страха смерти. Как в наши дни перед кончиной призывают священника, так тогда призывали мудреца. Тразеа умирает, напутствуемый циником⁴⁴ Деметрием. Кан Юлий шествует на казнь, сопровождаемый «своим философом». Таким образом, параллельно с христианской проповедью, начинается настоящая языческая проповедь философии. Дион Хризостом, Теаген в Риме превращают политеизм в своеобразную, почти мистическую, доктрину. Максим Тирский – в «Проповедях» уже монотеист – смотрит на образы языческих богов как на символы, необходимые для человеческой слабости, и верит в единого Бога.

Философы, как впоследствии иезуиты, более всего стремятся овладеть совестью государей. Они в этом вполне успевают, делаются неразлучными друзьями императора: мудрец – его *comes*,⁴⁵ он состоит у государя как бы на службе и получает определенное жалованье.

Мечта Сенеки и Платона, по-видимому, исполняется: на земле водворилось доньше небывалое царство философов.

Марк Аврелий, обладая величайшей самоотверженностью и безграничной властью римского цезаря, преследует задачу счастья и справедливости на земле так решительно, упорно и

⁴³ Народ, населявший центральную часть Апеннинского полуострова. Цивилизация этрусков предшествовала древнеримской.

⁴⁴ представители философского направления, возникшего в IV в. до н. э., проповедовавшие упрощение жизни, отказ материальных благ, желаний и т. д.

⁴⁵ товарищ, наставник (*лат.*).

страстно, как до тех пор еще никто не преследовал этой цели. Достиг ли он чего-нибудь?.. В тем ответе, который приходится дать, обнаруживается вся ирония человеческих судеб.

Варвары перешли через Дуная. Движение началось издалека. Вся масса германцев и славян двинулась и заколебалась. Римские легионы не выдержат этого страшного толчка и отступили. По всей Италии распространилась паника. Началось великое движение народов, которое должно было окончиться смертью Римской империи. Говорили, что со времени пунических войн⁴⁶ государство еще ни разу не подвергалось такой опасности. К войне присоединилась моровая язва.

Марк Аврелий, как философ, ненавидел войну. Военные подвиги казались ему бессмысленными или преступными. Он пишет в дневнике: «Паук гордится, поймав муху; тот – поймав зайца; другой – сардинок; третий – кабанов; четвертый – медведей; пятый – сарматских воинов. С точки зрения принципа, все – разбойники».

Понимая нелепость войны, он из чувства долга сделался великим полководцем. Он защищал римскую цивилизацию против стихийной, дикой силы варваров. Чтобы иметь больше денег для войны, император продавал драгоценную мебель из дворцов; вооружил гладиаторов, рабов, *диогмитов* (полицейских чиновников), даже разбойников.

Отныне царственный философ должен был проводить почти всю жизнь на берегах Дуная и Грана,⁴⁷ на диких унылых равнинах Венгрии, в полуварварских городах Карнонте и Сирмиуме.⁴⁸ Он испытывал беспредельное отвращение к войне и скуку, но побеждал себя и вел эту однообразную, бесконечную кампанию против квадов и маркоманов терпеливо, медленно и успешно. Армия его любила. С дикими варварами он обращался как истинный философ, уважая и в них человеческое достоинство. Весь день он проводил среди военных упражнений в лагере и только вечером, когда шум оружия, звуки труб и военной команды затихали, одинокий и печальный, уходил в свою походную палатку, чтобы, наконец, успокоиться, подумать о бесполезности борьбы, которую он ведет, и, засветив лампаду философа, почитать любимую книгу Эпиктета или записать какую-нибудь мысль в свой дневник. В такие грустные, бессонные ночи, когда уже солдаты спали, и в лагере воцарялась глубокая тишина, прерываемая только сигналами часовых, император, должно быть, выходил из своего шатра, смотрел задумчиво на звездное северное небо, и ему являлась мысль, которую я нахожу в его дневнике:

«Пифагорейцы предписывают подымать на заре наши взоры к светилам небесным, чтобы напомнить себе об этих существах, стремящихся вечно по тем же законам, вечно по тому же пути, чтобы напомнить себе об их порядке, безупречной ясности и наготе, так как они являются нам без покровов». Император хотел, чтобы душа его была во всем подобна этим существам – такой же светлой, простой и чуждой всех тайн перед людьми.

Ему уже минуло пятьдесят лет. Приближалась преждевременная старость. Он умертвил в себе личную жизнь, все желания и, по-видимому, достиг покоя. Но судьба готовила новые испытания.

Авидий Кассий, умный и образованный человек, когда-то любивший Марка Аврелия, был убежден, как римлянин старых традиций, что греческая философия в делах правления может только повредить государству. Он называл императора «доброй, философской женщиной». Часть римского общества и даже народа сочувствовала ему. Философия, наконец, всех утомила. Высоких целей не понимали, а видели, что циники, эти грубые люди – *псы*, как они сами себя называли, с огромными палками, запущенной бородой, мешками, в изодранных грязных плащах, буйствуют на больших дорогах и площадях, считая себя, ввиду покровитель-

⁴⁶ Пунические войны (264–241; 218–201; 149 – 146 гг. до н. э.) велись между Римом и Карфагеном за господство в Средиземноморье.

⁴⁷ река на территории современной Венгрии

⁴⁸ Карнонт (Карнунт) – древний кельтский город. Сирмиум – пограничное римское поселение на реке Савве.

ства императора, не ответственными перед законом. Чернь смеялась над знаменитыми учителями философии: «За его длинную бороду ему платят жалованье в десять тысяч сестерций; что же? надо бы платить жалованье и козлам!» Нищие беглые рабы, ленивые ремесленники, плохие актеры спешили записаться в цех «философов», находя это ремесло наиболее выгодным и легким. Люди сумели превратить и царство мудрецов в глупый фарс. Пользуясь искренним негодованием, с которым смотрела консервативная часть общества на этих проходимцев, считавших Марка своим человеком, Авидий Кассий поднял возмущение не против Марка Аврелия, императора, а против Марка Аврелия-философа.

Таким образом, доброта и мудрость государя повредили ему больше всего. Как истинный римлянин, он питает инстинктивное отвращение к восточным религиозным суевериям. К ним он причислял и христианство. Его пугал этот непонятный и непобедимый мистицизм, отрицавший весь государственный строй Рима. Император разрешил чиновникам преследовать христиан, как членов преступной ассоциации, как мятежников. Кровь невинных была пролита с разрешения самого кроткого из людей. Единственный раз, когда он принудил себя быть суровым, суровость повредила ему столько же, как доброта.

И в личной жизни, как во всем, император был мучеником. Жена его не понимала. Быть может, Фаустина любила мужа в то время, когда они еще жили во дворце Лориум или в затишье лесов виллы Ланувиум на последних отрогах Альбанских гор. Но любовь прошла, и философия наскучила молодой красивой женщине. Выдержки из Эпиктета возбуждали в ней тоску; спокойствие и кротость мужа раздражали ее, казались оскорбительными. Распространилась клевета, которая повторялась даже со сцены актерами, но, вероятно, не имела основания: говорили, что императрица в преступной связи с приближенным ее мужа, Луцием Вером. Император не обращал внимания на насмешки и как будто не видел зла. Но он с горечью чувствовал, что Фаустина от него удаляется, затаил в себе грусть, молчал и не изменял до конца отношения к жене, которое Ренан называет «неумолимой кротостью».

В эти последние годы ни на одно мгновение не покидала его мысль о смерти. Он жил в императорских дворцах как великие христианские отшельники. Аммоний, Нил, Пахомий жили в пустынях Фиваиды.⁴⁹ Мудрость никому не достается даром. Невозмутимое спокойствие, кротость, приветливое лицо скрывали страшную внутреннюю болезнь души. Он познал ничтожество всего, даже последней иллюзии – славы, человеческой любви, и скорбь его была беспредельна. Силы падали. В последнее время он мог говорить только тихим голосом и ходил маленькими шагами. Зрение ослабевало. К вечеру он так утомлялся, что не был в состоянии держать в руках книгу. Император перед смертью начинал понимать, что царство философов остается невыполнимой мечтой. Он предчувствовал, что Риму не победить варваров; искусства и науки падали; в народе распространялись грубые, нелепые суеверия. Одни только законы сделались немного мягче и справедливее, но люди остались такими же несчастными, невежественными и жестокими. Во всех слоях общества царствовала скорбь, утомление жизнью – то, в чем христиане видели предчувствие конца мира.

Между тем на краю могилы император понял, что его любимый сын Коммод,⁵⁰ наследник престола, кому он должен вручить после своей смерти судьбу человечества, за кого он отвечает перед людьми и перед Богом, – полужверь, будущий Нерон, Калигула или Домициан, более похожий на сына гладиатора, чем на сына мудреца. Зло обнаружилось мало-помалу, и кроткий император почувствовал весь его ужас, когда было уже поздно. Он не мог лишить Коммода престола, зная наверно, что тот подымет восстание, а для государства в смутное время, когда отовсюду грозили варвары, междоусобная война была бы губительнее, чем самое жестокое прав-

⁴⁹ Фиваида – область в Верхнем Египте; начиная с III–IV вв. – традиционное место жизни христианских отшельников и монахов.

⁵⁰ последний император династии Антонинов

ление. Природа посмеялась над тем, кто всю жизнь верил в Провидение. Это был его ребенок – кровь от крови, плоть от плоти:

он узнавал свои черты в чертах бессмысленного атлета с молодым цветущим телом, с кровожадным сердцем. Марк Аврелий, возлагая последнюю наивную надежду на воспитание, окружил Коммода знаменитейшими учителями философии и морали. Тот слушал их, по выражению Ренана, как слушал бы молодой лев, зевая и показывая острые зубы. Наследник Марка Аврелия чувствовал себя вполне дома только среди мимов, наездников цирка и гладиаторов, которых он превосходил силой и грубостью.

«О, смерть, приди скорее, не медли!..» – писал император в своем дневнике. «Я удаляюсь из этой жизни, где даже спутники мои, за которых я столько боролся, страдал, которым я так искренно желал блага, ждут, когда же, наконец, я умру, надеясь, что после моей смерти им будет лучше».

«Посредством анализа, – говорит Ренан, – он до такой степени разлагает жизнь, что она уже почти не отличается от смерти. Он достигает всепрощения, равнодушия, умеряемого жалостью и презрением... Последние движения жизни в этой душе были почти так же тихи, как едва слышные звуки во внутренности гроба. Он достиг буддийской *нирваны*, евангельского мира. Как Сакья-Муни, Сократ, Франциск Ассизский и еще три или четыре мудреца, он окончательно победил смерть. Он мог говорить о ней с улыбкой, так как воистину она более не имела для него смысла».

10 марта 180 года он заболел в лагере на берегах Дуная и, с радостью почувствовав приближение смерти, стал воздерживаться от всякой пищи и смотрел на себя как на умирающего.

Но, исполняя последний долг отца перед сыном, императора перед народом, он имел еще силу выйти к войску и представить ему наследника. Лицо философа, как всегда, было бледно, спокойно и приветливо. Но он знал, что делает, – знал, кому отдает в руки судьбу человечества. В эти последние страшные минуты изменила ли ему философия, пробудилась ли в нем жизнь и вместе с нею отчаяние, или ничто уже не могло нарушить покоя?..

Через семь дней, чувствуя, что наступил конец, он покрыл себе лицо, как будто желая уснуть, и в следующую ночь скончался.

Люди воздавали ему божеские почести; заключили его останки в мавзолей Адриана; называли не иначе как: «Марк – мой отец», «Марк – мой брат», «Марк – мой сын», смотря по возрасту. Но, вероятно, многие, узнав про его смерть, подумали: «Ну, слава Богу! кончен долгий пост, кончилось унылое царство мудрецов!» – и вздохнули с облегчением.

После отца-философа на престол вступил сын-гладиатор. «Прощай, добродетель! прощай, разум! Если Марк Аврелий не мог спасти мир, кто же спасет его?.. Да здравствует безумие, да здравствует сириец и его сомнительные боги!» (Ренан).

Попытка философа сделать человечество мудрым завершилась кровавым фарсом Коммода, и после краткого перерыва снова победила человеческая глупость.

III

Если вы ищете в книге новых фактов, знаний, отпечатка исторической эпохи, поэзии или философской системы, то дневник Марка Аврелия даст вам немного. Это книга, более чем какая-либо другая, независима от условий места и времени, от всякой предвзятой системы, от требований литературного слога, от желания нравиться или открывать новые истины. Ее глубокая цель – отрешение от жизни; ее область – душа человеческая, освобожденная от всего, что сковывает ее на земле. Стоицизм II века оставил след на мыслях Марка Аврелия, но это – след внешний. В сущности нравственное настроение императора имеет часто более сродства с апостолом Павлом и Сакья-Муни, чем со стоиком Эпиктетом.

Если же вы возьмете эту книгу в руки с искренней жадной веры, с тревожной совестью и душой, взволнованной великими несмолкаемыми вопросами о долге, о смысле жизни и смерти, – дневник Марка Аврелия вас увлечет, покажется более близким и современным, чем многие создания вчерашних гениев. Вы почувствуете, что это – одна из тех бесконечно редких книг, которых сердцем не забываешь и о которых приходится вспоминать не в библиотеках, ученых кабинетах и аудиториях, а в жизни, среди страстей, искушений и нравственной борьбы. Эта книга – живая. Она может не произвести никакого впечатления, но, раз она затронула сердце, ее уже нельзя не любить. Я не знаю более сладкого и глубокого ощущения, чем то, которое испытываешь, встречая свои собственные, никому не высказанные мысли в произведении человека далекой культуры, отделенного от нас веками. Тогда только перестаешь на мгновение чувствовать себя одиноким и понимаешь общность внутренней жизни всех людей, общность веры и страданий всех времен. С каким удивлением и радостью узнаешь все, о чем только что говорил с близким человеком или думал наедине с собой, все, чем мы в настоящее время живем и от чего гибнем, все наше неверие и наши нравственные муки – в этих небрежных заметках, в этом походном дневнике, торопливо набросанном в палатке, где-то на берегах Дуная, среди варваров, во II веке римским императором, умершим более чем за полторы тысячи лет назад. Но это не император, это не римлянин, это даже не человек с его обычным лицемерием и самолюбием – это душа, обнаженная от всех покровов, которую мы созерцаем лицом к лицу, как нашу собственную душу. Вся книга – один монолог из трагедии сердца великого и непонятого людьми. Предвидишь неминуемую развязку трагедии, но герой умирает с таким величием, с таким презрением к смерти и к жизни, что гибель его внушает больше благоговения, чем всякая победа. Не думая о догматах, он создал веру, доступную всем векам и народам; не думая о философских системах, он создал неразрушимое нравственное учение; не думая о литературном стиле, он создал глубокую поэму человеческой совести.

«Всегда смотри на себя как на умирающего» (кн. II, 2). «Через одно мгновение ты будешь горстью пепла, скелетом, именем, или даже имя твое исчезнет. Имя – только шум, только эхо! То, что мы так ценим в жизни, – пустота, тлен, ничтожество; собаки, которые грызутся, дети, которые дерутся, только что смеялись и сейчас же после этого плачут... Чего же ты ждешь!..» (кн. V, 33).

Его преследует мысль о смерти. Это хорошо знакомый нам страх, никогда не затихающий и неотразимый. Он преследовал римлян времен упадка, лишенных веры, и теперь после долгого перерыва снова пробудился; он преследует людей XIX века самых различных темпераментов, национальностей и направлений – одинаково Бодлера, как Леопарда, Байрона, как Толстого, Флобера, как Ибсена.

Один из последних питомцев эллинских муз, еще приносивший, в угоду толпе, жертвы светлым богам Олимпа, уже говорит о радостях жизни с презрением и злобой, бичует их, нарочно употребляя самые грубые оскорбительные слова, как будто перед ним не ученик греческого ритора Фронтонна, а суровый христианский отшельник. Говоря о славе царей и о вели-

чии, император в избытке негодования вдруг обрывает свою речь почти бранными словами: «О, какое зловоние, какой тлен!» (кн. VIII, 37). «Что такое ванна? – масло, пот, грязь, мутная вода – одним словом, все, что только есть отвратительного. Вот – жизнь; вот – предметы, доступные твоим чувствам» (кн. VIII, 24). «Игры и драки детей... души, облеченные в плоть, – души, носящие на себе трупы!..» (IX, 24).

Он чувствует общее всем людям той эпохи – язычникам и христианам – утомление жизнью, разочарование в попытках человечества достигнуть свободы и равенства на земле: «Не надейся, когда бы то ни было, осуществить республику Платона» (IX, 29). «Вечное повторение тех же предметов внушает отвращение: это мука всей нашей жизни. От высокого до низкого предметы всегда те же, происходят от тех же начал. До каких пор, наконец?» (VI, 46).

«Подумай только о нравах окружающих, с которыми приходится жить. Самый добрый из людей едва выносит их. Но что говорю? каждый едва выносит самого себя. Среди этого мрака, грязи, в потоке, увлекающем и материю, и время, и движение, и все предметы, знаешь ли ты хоть что-нибудь достойное твоего уважения и твоих забот? Я ничего не знаю» (V, 10).

«Оставаться тем же, чем ты был до этого дня, и вести прежнюю жизнь, полную тревог и оскорблений, значит не иметь чувства достоинства, значит быть рабом жизни, похожим на тех несчастных, которые на арене цирка, когда звери уже наполовину загрызли их, все еще покрытые ранами и кровью, умоляют народ оставить их жить хоть до завтра, зная, что и завтра на том же месте они будут преданы когтям и зубам тех же зверей» (X, 8).

«Быть властелином своей души, погасить все желания» (IX, 7) – вот к чему он приходит. Это тот же вывод, как у буддистов и Шопенгауэра, – полное отречение от воли и страстей, внутреннее самоубийство. «Будьте бесчувственны, будьте подобны камням!» В том же настроении, как великий пессимист-император, другой пессимист-художник – Микель-Анжело, написал сонет о своей мраморной, страдальческой «Ночи»: «Мне сладко спать, еще слаще быть каменной в эти времена бедствий и позора. Ничего не видеть, ничего не чувствовать – великое блаженство. О, не буди же меня, умоляю! говори тише!» Так на пределах скорби наступает окаменение сердца. Человеческая душа, как Ниобея, превращается в камень.⁵¹ Но и тогда для нее нет успокоения. Душа не умирает, и слезы живой любви и скорби продолжают струиться даже из каменных очей Ниобеи. И мраморная Ночь Микель-Анжело живет и страдает.

«Будьте бесчувственны, будьте подобны камням» – вот неумолкаемый, из века в век повторяющийся завет стоиков, аскетов, буддистов, художника Микель-Анжело, философа Шопенгауэра, императора Марка Аврелия. Но если камни не страдают – они и не любят и не верят в богов. А кроткое сердце императора полно любви, сострадания к людям и веры в божественное начало мира. Это противоречие спасает его от сухости и омертвления души, в которое впадали более последовательные стоики, отрицая во имя разума все волнения, даже волнения жалости. Для себя он признает свободу воли, но, чтобы прощать других людей, он проповедует, что зло и пороки так же естественны, как розы – весной, как плоды – осенью. Это противоречие разрушает систему, но делает его книгу человеческой: это неразрешимое противоречие нашего собственного сердца. «Если ты сердисься на кого-нибудь, – советует он, – представь себе этого человека мертвым, лежащим в гробу, и ты простишь его». Таким образом сознание ничтожества нашей борьбы, страх смерти переходит в жалость к людям. «Помни об одном: через очень короткое время и ты и он – вы оба умрете, а потом скоро даже имена ваши исчезнут» (IV, 6). Противник христиан говорит почти словами Евангелия: «Человеку свойственно любить тех, кто делает ему зло» (VII, 22). Суровый стоик, который советует нам, слабым людям: «Сохранить невозмутимое спокойствие, даже если тело ваше будут резать и жечь!» – обладает кротким и нежным сердцем: «О, душа моя, будешь ли ты, наконец, доброй,

⁵¹ Ниобея – в греческой мифологии царица Фив, окаменевшая от горя после убийства ее детей богиней Лето, которую она оскорбила хвастовством.

простой, всегда неизменной и открытой, обнаженной, более видимой для глаз, чем тело, твоя оболочка? Вкусишь ли ты, наконец, от блаженства любить, любить всех людей!» (X, 254).

Кроме доброты сердца, его спасает от аскетической сухости, квиетизма⁵² и отчаяния вера в непобедимость человеческого разума. «Помни каждое мгновение дня, что ты должен показывать в своих действиях твердость, как подобает римлянину и мужу» (II, 5). Человек должен «иметь в душе внутренний храм» (VI, 3). «Подчиняйся владычеству бога, живущего в твоём сердце; будь мужественным, зрелым, другом народного блага, римлянином, императором, солдатом, стоящим на посту и ожидающим сигнала трубы, – человеком, готовым покинуть жизнь без сожаления, чье слово не нуждается ни в клятвах, ни в свидетельстве других людей» (III, 5). «Разум – это божественный гений, живущий в каждом человеке» (V, 27).

Его Бог – человеческая совесть. Это – простая, чистая и бескорыстная религия долга и любви. У него нет определенной веры в богов, нет никаких догматов. Сердце и ум не могут быть более свободными. Он ничего не утверждает. Сомнение никогда не исчезает из его веры. Его мысли всегда имеют две стороны: одну – если Бог и душа существуют, другую – если их нет. «Или все – неопределенная смесь, хаос, атомы, которые собираются и рассеиваются, или же в мире есть порядок, единство, провидение. В первом случае – неужели ты можешь желать оставаться в этом случайном смешении атомов? О чем мне тревожиться? Сила уничтожения подействует на меня, что бы я ни делал. Во втором случае – я боготворю Существо, управляющее нами; оно – мой покой, оно – моя вера» (VI, 10). «Что бы ты ни делал и ни думал, не забывай одного: возможно, что в следующее мгновение ты умрешь. Покинуть мир, если есть боги, не страшно: они тебя не сделают несчастным: если же их нет, или если они не заботятся о людях, стоит ли жить в таком мире, где нет богов и нет промысла?» (II, 11). Вот чем Марк Аврелий близок нам, людям XIX века, таким скептикам, жаждущим веры, как Ренан. Марк Аврелий имеет силу никогда не выходить из этой дилеммы, он понимает, что ее нельзя и не следует разрешать. В этом трагизм нравственной жизни. Живая вера поддерживается внутренней борьбой, сомнением, вечно возрождающимся и вечно утоляемым верой. Вот почему вера – величайшее утешение и вместе с тем величайшее страдание души. Она дает жизнь сердцу и сжигает его, пожирает, как сильное пламя – сухое дерево. Только великая душа способна выдержать эту борьбу; слабые гибнут или успокаиваются на внешних догматах. Марк Аврелий до конца не изменил себе, до конца сомневался, верил и боролся со своими сомнениями за свою веру; он пал, обессиленный в борьбе, но не побежденный. В этом его величие.

Он иногда достигал такой высоты, где уже не слышно ни одного земного звука, где в безмолвии всех страстей исчезает даже скорбь. «Надо жить в согласии с природой это неуловимое мгновение, пока мы существуем; надо покинуть жизнь с покорностью, как спелая олива падает, благословляя землю, свою кормилицу, и благодаря дереву, на котором она выросла» (IV, 48).

Это успокоение мудреца граничит с гармонией и красотой, которых достигают только великие художники: «Посмотри, каков луч солнца, когда свет перед нашими глазами проникает в узкую щель темной комнаты. Он протягивается прямой линией, потом ложится на какой-нибудь твердый предмет, который преграждает ему путь и заслоняет то, что находится дальше и что он мог бы осветить. На этой преграде луч останавливается, не скользя и не падая. Так душа твоя должна сиять, изливаться на внешние предметы, никогда не изнемогая, а только стремясь, не делая насилия и не ослабевая, когда встречаются преграды. Пусть она не падает, но останавливается, как луч солнца, освещая то, что может принять свет» (VIII, 57).

О смерти никто не говорил более простых и глубоких слов, чем следующие заключительные строки дневника императора: «О, человек! ты был гражданином великого города. Не все ли тебе равно, прожил ли ты в нем пять или три года. То, что, согласно с законами, не может быть несправедливым ни для кого. Какая же в том обида, что тебя удаляет из города не тиран,

⁵² пассивное отношение к жизни

не судья несправедный, а сама природа, которая тебя поселила в нем? Так из театра отпускает актера тот же самый претор, который пригласил его на сцену. – „Но я еще не сыграл пяти актов, а только три“. – Ты говоришь хорошо. Но в жизни довольно и трех актов, чтобы пьеса была цельной. Тот, кто определяет твой конец, некогда соединил части твоего тела; он же – виновник их разложения. Ни то, ни другое от тебя не зависит. Уйди же из мира со спокойным сердцем. Отпускающий тебя не гневается» (XII, 36).

Но для того, чтобы достигнуть этих высочайших вершин мудрости, откуда человек созерцает смерть, как путник, достигший горных снегов, за облаками созерцает лицом к лицу вечно ясное небо, ему надо было пройти страшный путь, подобный крестному пути всех мучеников. Иногда мы не в силах следовать за ним. Мы ужасаемся полного умерщвления воли и чувств, этого добровольного самоубийства. Он слишком презирает наши страдания и наши слабости. Он уверяет, что мы можем быть вполне счастливы, если бы даже все человечество восстало на нас с проклятиями, что мы можем сохранить невозмутимую ясность души, если бы даже хищные звери терзали наше тело. Быть может, это верно, но во всяком случае человеческое сердце возмущается против нечеловеческой логики стоицизма, и предел мудрости нам, слабым смертным, начинает казаться пределом жестокости. В самом деле, преступник, убивающий людей, уничтожает жизнь в ее чистых пределах. Мудрец, который ненавидит жизнь и отрицает ее сущность – волю жить, хочет истощить самый источник жизни, – быть может, совершает более страшное преступление, чем убийца. Вот величайший трагизм существования: последняя цель добродетели – отречение от воли, от жизни, уничтожает самую добродетель. У Марка Аврелия есть образчик стоической молитвы. «Другие молятся о сохранении жизни своих детей, ты молись: Господи, сделай так, чтобы мне было все равно – умрет ли мой ребенок или нет».

К счастью, Марк Аврелий не дошел до этой молитвы, о чем, между прочим, свидетельствует одна прелестная интимная записочка императора к его старому учителю Фронтому, которую я приведу целиком.

«Цезарь Фронтому.

По воле богов мы, наконец, снова можем надеяться на спасение (я опускаю наивную и реалистическую подробность о пищеварении молодой принцессы, которую император сообщает с великой радостью). Приступы лихорадки исчезли. Но остается еще худоба и немного кашля. Ты уже наверное угадал, что я говорю о нашей дорогой маленькой Фаустине, которая нас так беспокоила. Как твое здоровье? Напиши мне об этом, мой милый учитель».

В этой коротенькой записочке аскет, умерщвляющий свое сердце, изменяет неумолимому учению: он любит. Воображаю великого императора, чей памятник стоит теперь над Капитолием, воображаю того, кто защищал столько лет римскую империю от варваров, кто молился богам, чтобы они в сердце его погасили последнюю искру земной любви, воображаю его у постели маленькой больной дочери – как он рукой щупал ей голову: есть ли жар? Бедная Домиция Фаустина умерла. О, величайший из стойков, неужели в ту минуту, когда перед тобой лежало маленькое холодное тело Фаустины, ты имел силу молиться богам: «сделайте так, боги, чтобы я не жалел ее!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.